

К полночи шибануло откуда-то звонким, ровным морозом. Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась исполинская белая полоса Млечного Пути. Иван Тимофеевич поднялся с печи, прямо поверх белья надел тулуп и вышел до ветру. Промерзшие половицы закрипели под ним, в сенях оглушительно пальнуло треснувшее от мороза бревно.

На полевых задах, ближе к болоту, явственно и печально завыл волк, ему тонким долгим криком отозвалась волчица.

«Ишь, проклятый, — подумал старик, — чтобы вы сдохли, вторую ночь воют и воют». Он закрыл ворота на засов.

В избе было тепло, пахло хомутом и просыхающими валенками. На кровати за шкафом похрапывала старуха. Иван Тимофеевич зажег лучину и вставил ее в старинный, оплывший нагаром светец: керосина не было с самой почти осени.

— Хоть бы ночью-то передышку себе делал, не курил! — заворчала Михайловна.

Иван Тимофеевич молчал, глядя, как бьет из сучка огненный фонтанчик, как, остывая, подергивался белым пухом потрескивающий уголек.

В эту зиму Ивана Тимофеевича все чаще прихватывала тоска. Началось это после того, как пришла вторая похоронная — похоронная на младшего — Колюху. Только успели опомниться от горя после первого извещения — извещения на старшего, как опять принесли бумажку из сельсовета. В ней писалось, что сын геройски погиб при выполнении задания, что похоронен там-то и там-то. Два года—две головы...

Иван Тимофеевич крикнул и зажег новую лучину. Осветился неоклеенный простенок с зеркалом и фотографиями. Старик достал из-за зеркала письмо, откинул бородатую голову, стал читать. Письмо было от среднего, от Леонида, пришло оно третьего дня. Иван Тимофеевич, шевеля губами, снова его перечитал:

«...Шлю я вам свой боевой гвардейский привет. Дорогой тятя Иван Тимофеевич, дорогая мама Надежда Михайловна, мы теперь уж идем по чужой земле. Маршрут нам один — до самого Берлина, а фрицы бегут на чем попало...»

В тишине снова громко треснул мороз. Иван Тимофеевич дочитал письмо, положил его опять за зеркало. «Эх, Ленька, Ленька! Один ты теперь у нас остался, лежат оба твои братана в земле, не встанут никогда, и некому теперь, кроме тебя, играть на гармонье». Иван Тимофеевич покосился на шкаф, где внизу лежала давно никем не троганная гармонь. Потом подождал, пока догорела лучинка, и залез на печь. Однако сна так и не было, и вскоре старик опять поднялся, собираясь ехать затемно за дровами.

Михайловна канителилась около печи.

Иван Тимофеевич с истертым дубленным тулупом на плече, в большущих валенках и с топором за ремнем подошел к воротам колхозной конюшни. Мороз ярился, как стоялый, откормленный овсом жеребец, ночь была на избыве. Как мелкие битые стеклянки, мерцали в небе звезды, но за деревней уже обозначилась лиловая заря.

В конюшне было теплее. Сивая лошадь Свербеха глубоко всхрапнула, когда старик подошел к стойлу. Свербеха никому, кроме Ивана Тимофеевича, не давала себя обрабатывать: она по-крысиному вытягивала шею и прижимала уши, норовя укусить. Бабы всегда ловили ее граблями за спутанную гриву или же звали на помощь Ивана Тимофеевича.

Старик ласково обратал Свербеху и вывел в коридор, чуть не упал, наступив на мерзлый кругляк конского помета. Уже брезжило. Кое-где из труб забелели высокие, расширенные кверху столбы дыма: мороз не собирался уступить.

Иван Тимофеевич надел на Свербеху хомут, седелку. Потом завел в оглобли, расправил затвердевший гуж и начал запрягать. Он с наслаждением через ногу стянул клещевину хомута (сила еще была), ловко замотал и заправил сыромятную супонь, подседлал и завожжал.

Скрипнули промерзшие дровни. Иван Тимофеевич сидел в тулупе на полудугах, которые кладутся на дровни, чтобы не раскатывались дровяные кряжи.

«Эх, жизнь бекова!.. — подумал старик и выехал из деревни. — Хоть бы скорей война кончилась, приехал бы Ленька, завернули бы ему свадьбу...»

Снег скрипел под полозьями, словно шла по дороге тысяча женихов, обутых в сапоги со скрипом, — в такие сапоги, какие шьет хромой сапожник Ярыка. Ярыка умел класть в задник сапога такую бересту, что при ходьбе и пляске они скрипели на всю волость, на весь сельсовет.

Светало. Снежное поле с застывшими волнами наста вдруг порозовело от холодного солнца, и Иван Тимофеевич подхлестнул Свербеху. Она мотанула в ответ сивой репицей и запереступала скорее. Вся кобыла да и сам старик давно заиндевели до последнего волоска. Дровни стонали и пели, и под это пение накатывались хорошие думы о прежних годах.

— Ох-оох, обоих укокало! — вслух подумал Иван Тимофеевич.— За что такая беда, за что?..

Дрова — мелкий ельник с кривоногим ольшаником и белобокий березняк — были еще с осени нарублены в болоте и стояли костром. Иван Тимофеевич обмял снег вокруг костра, объехал его и, не торопясь, начал складывать. Он только наложил воз и завязал его веревкой, как вдруг Свербеха беспокойно метнулась, чуть не сломала оглоблю и вся задрожала всхрапывая.

Иван Тимофеевич оглянулся — и обомлел: два тощих волка, поджав хвосты, прыгнули в сторону. Они остановились и, сонно щуря холодные бессмысленные глаза, трепетно шевеля ноздрями, вытянули морды. Иван Тимофеевич увидел даже седину на нижней челюсти одного волка.

Свербеха, несмотря на тяжесть воза, с тревожным ржанием бросилась по дороге, и старик еле успел прыгнуть на воз. Торопливо вытаскивая из-за ремня топор, Иван Тимофеевич видел, как один волк легко перемахнул через валежину, другой обогнал первого, и по насту они в четыре прыжка оказались рядом. Лошадь понеслась вскачь. «Только бы не лопнула завертка», — мелькнуло в голове. Все это произошло за несколько секунд и плохо запомнилось Ивану Тимофеевичу. Передний волк дважды прыгал к горлу Свербехи, и каждый раз, кувыркаясь, отлетал, отброшенный запрягом. В это время второй волк, видимо, трусил, но вдруг на какой-то миг Иван Тимофеевич увидел тонкие лапы и

звериную морду и ударил по этой морде обухом. Зверь взвизгнул и, корчась, растянулся на снегу. Первый еще несколько раз прыгал к лошади, но Свербега галопом неслась уже по полю, и невдалеке белели высокие столбы печного дыма.

2

Весна была трудная, затяжная. К началу мая еле-еле набухли и посерели речные изгибы. В колхозе началась бескормица. Как-то Михайловна прибежала сама не своя из хлева, с плачем заметалась по избе:

— Ой, Иван, ой, корова-то!..

Иван Тимофеевич бросился в хлев. Корова лежала на боку, дрыгала ногами, большой коровий глаз уже закатился. Иван Тимофеевич побежал в избу за ножом, чтобы прирезать животину, долго искал нож. Но было уже поздно. Корова сдохла, и мясо пришлось зарыть.

После этого Михайловна осунулась еще больше и начала заговариваться. А тут еще у Ивана Тимофеевича кончилось курево. Он дергал из паза коричневый спрессованный мох, но дым только расстраивал. Сапожник Ярыка тоже маялся из-за табаку, но ему изредка носили махорки за шитье, и Иван Тимофеевич по воскресеньям ходил курить к Ярыке.

Сено в колхозе кончилось еще до весны, и половина лошадей передохла, коровы держались кое-как на соломе, снятой с крыш. Однажды Иван Тимофеевич вышел утром на крыльцо: бригадир распорядился съездить на Свербехе по старым вытаивающим остожьям пособирать остатки сена.

Было солнечно, и с утра начиналась теплынь. Со всех сторон на деревню летели знойные песни тетеревиных токов. Косачи булькали; казалось, во всем мире, небо нежно синело над крышами, и река разлилась и ровно шумела внизу, за деревней.

Иван Тимофеевич в первый раз за всю весну надел сапоги. Накануне он промазал их дегтем, просушил портянки, и сегодня легко и радостно было освобожденной от валеночной тяжести ноге; запах талой воды и дегтя напоминал о прежних веснах.

С зимней стороны домов таяли последние суметы, а с летней, на припеках, кое-где проклевывалась первая травка. Над потеплевшими полями всходило большое солнце, смоляные белоносые грачи бродили по пашне, пахло солнцем, навозом и весенней водой.

Чисто и беззаботно пропел над головой скворушка. Иван Тимофеевич задрал бороду и долго глядел на птаху. В сквозной синеве не было ни одного облака, и скворечня, еще до войны поставленная у рассадника Леонидом, плыла в той синеве.

Иван Тимофеевич, пробуя, не текут ли сапоги, прямо по лужам прошел на конюшню. Свербега в этот день еле встала. Несколько раз пыталась она выбросить из-под себя передние ноги, но усилия были слабы, и старику пришлось помогать ей. Наконец она встала, сперва на передние, потом на задние ноги,

благодарно прислонила длинную сивую голову к плечу Ивана Тимофеевича. Старик пошебаршил у нее за ухом, поглядел в пустую кормушку.

— Что, брат, нету сенца-то? Нету, девка, сам вижу, что нету. Ну, потерпи, потерпи.

Он с веревкой пошел в поле, к одному, потом к другому остожью. Около стожаров вытаяли промытые, бескровные волоти сена. Иван Тимофеевич насобирав целую ношу такого сена и на себе принес в конюшню. После солнечного поля в конюшне показалось темно, как ночью. Свербежа радостно и тихо заржала. Иван Тимофеевич кинул ей охапку, только хотел поделить остаток между другими уцелевшими лошадьми, как вдруг в просвете ворот появилась доярка Польша Балашова.

— Да ты что, Иван, делаешь-то? — плачуще заговорила она.— Ведь еще вчерась бригадир говорил, что сено для коров на остожьях, а ты его лошадям. О господи!

От голода большие Польшкины глаза стали еще больше, от горя печальнее. В первый же день войны Алешка Балашов ушел на фронт, не прожив с женой и медового месяца. А уже под весну, в феврале, Польшке принесли похоронную. Польша зашла без памяти в беззвучном плаче, два дня прокаталась по полу и на третий родила сына-недоноска. Витьке все прочили близкий конец, а он взял да и выжил. С той поры Польша переменялась начисто, словно родился не Витька, а она сама, и всю войну работала на ферме.

Сама не своя, кинулась Польша собирать остатки сена.

— Ты, Полинарья, погоди, ну... вишь ты. Давай пойдёмко в поле-то, пособираем еще, от ей-богу! — Иван Тимофеевич взял веревку.

Они вместе с дояркой долго ходили в поле, кое-как наскребли две ноши сена и с трудом притащили на ферму. Польша, обрадованная, лихорадочно бегала вдоль кормушек; коровы тыкались мордами ей в бок и трубили наперебой. Иван Тимофеевич зашел в водогрейку. Большая закопченная водогрейка была пуста. Пахло плесенью и креолином, на полу валялся разряженный ржавый огнетушитель, на раме изумрудная отогревшаяся к весне муха слабо перебирала лапками.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал, что в малом котле что-то шебаршит. Старик глянул. В котле сидел Витька и ел глиняную обмазку. Кривые, тощие ножонки он сложил калачиком, все лицо было в глине, как в шоколаде. Витька перестал жевать глину, восхищенно уставился на Ивана Тимофеевича и улыбнулся. Старик утер ему нос, сделал «козу» в животик:

— Ну, что, енерал, в котле сидишь? Ешь, ешь глинку-то, ешь. Иван Тимофеевич вышел на солнышко. Его ослепило синевой и золотом яркого весеннего дня, оглушило птичьими криками и шумом водополицы. Польша, навалившись на барьер кормушки, судорожно тряслась плечами, выламывала руки и сдерживала тяжкие частые вздохи. Старик, чувствуя тревогу, подошел поближе.

— Полинарья, ты что?

Полька отшатнулась от кормушки. Глотая слезы и улыбаясь, проговорила: — В-в-в-войне конец. Кончилась, война кончилась! В теплушке из котла ревом отозвался Витька.

3

Ярыка тачал скрипучее голенище и говорил сам с собой. Когда Иван Тимофеевич сообщил ему новость, сапожник сначала не поверил, потом обвел глазами свою избу и со всего маху швырнул голенище под лавку.

— Эх, маткин берег, да неужто?!

Он, как молоденький, подскочил к подполью, дернул крышку за колечко и исчез под полом. Вскоре он вылез обратно, держа в кулаке пыльную четвертинку.

— Во! Два года берег! Думаю, не я буду, ежели не доживу до такого момента!

Он достал из комода две чашки, а Ярыкина баба принесла на сковороде лепешку из соломенной муки. Разрезали луковицу.

Ярыка полосатой от дратвы рукой взял чашку, чокнулся и выпил, двигая тощим кадыком. Крякнул. Иван Тимофеевич давно не пил водки. Его обожгло, теплой волной пошла по телу давно не испытанная истома.

— Вот и дождались, Иван, светлого часу,— заговорил Ярыка, разливая остатки из четвертинки.— Дождались... А как жить будем? Колхоз стал не колхоз, а одна беда. Мужиков осталось в деревне только мы с тобой — куда девалась вся сок-сила? Всех побили до единого. Один твой Левонид...— Ярыка надолго закашлялся, показывая язык и качаясь.— Мишуху Смирнова... Помню, сапоги ему шил на самую большую колодку, и то малы оказались. Такого мужика залобанили... Коля Мокрынин... тот, бывало, все ко мне ходил... Ванюха-Варза, Петька Марьин, Олешка Балашов, твоих двое... Эх, маткин берег, оскобили деревню подчистую.

Иван Тимофеевич долго сидел у Ярыки. Под конец они оба совсем охмелели, сапожник начал свежую осьмушку махорки, и в избе плавал сизый слоистый дым. В это время на улице заколотили зубом от бороны по отвалу.

— Выходи на собрание! На собрание!.. Бабы, на собрание!..— кричала бригадирка.

Общее бригадное собрание было в зимовке Ивана Тимофеевича. До самых сумерек говорили насчет весеннего сева, а когда расходились, то над деревней легонько и умиротворенно шел первый теплый дождь.

Земля, словно невеста в разлуке, томилась за всеми околицами, готовя себя к счастливому обновлению. За гумном, как и всегда по весне, шумел и бурлил пузыристый Ярыкин ручей. Что-то радостно и тревожно всю ночь пробуждалось в теплом тумане.

Утром Иван Тимофеевич надел новую рубаху, обулся и примерил холщовые рукавицы-однорядки, сметанные Михайловной еще в зимнюю пору. На душе было и горько и празднично. Опять вспомнилась предвоенная весна, когда вот в такую же пору он вместе с двумя старшими сыновьями выехал на старый Тимохин отруб. Младший был тогда еще подростком, и его учили пахать. В крепких промазанных сапогах, с деревянными лопатками для очистки отвалов,

все ядреные, сыновья настраивали плуги, подгоняли упряжь и походя прихватывали за бока девок-бороновальщиц. А какие были кони в бригаде! Как ровно шла в борозде раскормленная Свербеха!..

С такими думами Иван Тимофеевич вывел Свербеху из конюшни. Она еле переставляла свои громадные копыта с мохнатыми щетками; только и остались от Свербехи, что эти громадные, как блюдо, копыта.

Пахать всегда начинали с Тимохина отруба. Здесь раньше всегда сходил снег и подсыхали загоны. Иван Тимофеевич с трудом, но радуясь, выкатил из гумна плуг; своим еще довоенным ключом прикрутил лемех с коляской и запряг. Грачи, чувствуя новизну, уже нетерпеливо прыгали невдалеке.

— Ну-ко, милая! Ну-ко!.. — ласково сказал Иван Тимофеевич, втыкая лемех в закраину борозды.

Свербеха умно и умело встала в борозду. Она, слегка косясь назад, ожидающе наострила сивые уши.

— Ну, начали благословясь...

Свербеха дернула, прицеп напрягся, и лемех покато вполз в глубь влажной земли. Но лошадь тут же остановилась. Снова дернула и опять встала. Дрожа мускулами тощих ляжек, она с тихим ржанием оглянулась на Ивана Тимофеевича. Он подошел к ней, поправил седелку, погладил печальную лошадиную морду.

— Давай, матушка, давай, надо ведь...

Она, качаясь из стороны в сторону, прошла шагов десять, потом еще десять, потом еще... Темная полоса земли тянулась все дальше, и первый грач уже слетел на эту полосу, ткнул в нее белым костяным носом.

К обеду они вспахали один загон, соток пять. Когда Иван Тимофеевич почувствовал, что Свербеха сейчас упадет, он распряг ее. Возвращаясь из конюшни, он все думал, где бы еще понаскрести сена, ему было отрадно, и перед глазами все темнел вспаханный загон.

Над полем и деревнями светило в синем просторе теплое, доброе солнце, в канавах шумели вешние ручьи. Ярыкина баба выставляла в избе зимние рамы.

Ярыка сидел на крыльце и издали просил у почтальонки газетку сначала поглядеть, а потом на курево. Почтальонка как-то боком подошла к крыльцу вместе с Иваном Тимофеевичем, не поздоровалась почему-то и торопливо ушла, сунув ему в руки какую-то бумагу. У Ивана Тимофеевича затряслись руки, когда он начал читать. Солнце покатило и перевернулось вместе с небом, деревня перевернулась крышами вниз, и Иван Тимофеевич в беспмятстве опустился на Ярыкино крыльцо.

— Левонида! Левонида убило! — закричал Ярыка, и вся деревня сбежалась к этому крыльцу.

Плакали все до одного, плакали навзрыд о погибшем на чужой стороне за три дня до конца войны.

Не было тут только Михайловны, матери этого последнего. Когда ей сказали о Леониде, она встала из-за стола и, безумно озираясь вокруг, прошла к шестку, взяла за чем-то пустой чугунок, начала старательно складывать в него клубки, ложки, облигации, тряпки...

Через неделю она тихо умерла в своей бане, пахнувшей плесенью и остывшими головешками.

4

Кое-как прошла неделя. Неожиданно переменилась погода: вдруг из-за леса нахально подул пронзительный сиверко, стремительно понес белые потоки тяжелых снежных хлопьев. Исчезли куда-то скворцы с грачами, солнце потухло и скрылось, и даже шум половодья чуть притих, словно давая потачку уходящей зиме. А зима в последний раз круто распорядилась на земле. Снег летел почти не с неба, а с горизонта, хлестал откуда-то сбоку.

Морозно было даже днями, и могила Михайловны долго не опадала: мерзлая земля так все и бугрилась над приютом солдатской матери. Иван Тимофеевич через день с лопатой ходил на погост, пробуя окидать холмик, но земля не оттаивала.

На седьмые сутки опять хлестал снег. Иван Тимофеевич, опираясь на лопату, шел домой. В поле он остановился и долго глядел на свой дом. Хлопья снега шмякались в бороду и в глаза, таяли, и капли стекали за ворот. Иван Тимофеевич глядел на дом, а дом глядел на него: четыре передних окна желтели крашеными рамами и были похожи на тонконосые лики иконописных угодников. У черемухи тоскливо торчала скворечня.

В деревне было пусто и холодно. Иван Тимофеевич приставил лопату к воротам и пошел на конюшню проведать Свербеху. После того раза он уже не ездил пахать: погода переменилась, да и Свербеха уже третий день сама не вставала на ноги и висела на веревках, привязанных к стропилам.

Еще из ворот Иван Тимофеевич увидел, что веревки от стропил отвязаны. Он подошел к стойлу, дважды тихонько взыкнул, но не услышал обычного ответного ржания. Свербеха лежала на левом боку и не двигалась. Иван Тимофеевич кинулся к ней, дернул за холку, но тяжелая оскаленная голова была холодна и неподвижна, большие копыта откинута.

Иван Тимофеевич медленно опустился на холодный лошадиный круп. Из ворот в стойло дунул ветер, шевеля сивые космы Свербехиной гривы, жалобно засвистело в пазах и загулял в холодных стропилах.

Иван Тимофеевич долго сидел на мертвой Свербехе. Потом он встал, смотал на руку вожжи, на которых подвешена была Свербеха, и пошел домой.

В небе над полем шла полоса снежной белой крупы.

Старик поднялся по давно не метенной лесенке в сенцы, открыл двери, растерянно, как чужой, оглядел избу. Печь была не топлена, и от этого запах жилья уже уступал неприятному запаху холода и пустоты. С потолка свисала отклеившаяся газетка. У порога валялись стружки и пустая коштина черепеня; сама кошка еще на той неделе ушла и больше не показывалась. Иван Тимофеевич, не снимая фуфайки, сел на лавке, сгорбившись, глядел на сучок в половице. Он старался вспомнить всю свою жизнь с того лета, как начал сознавать сам себя, и до теперешней весны, но память путала и переставляла годы, выхватывая из прошлого то одно, то другое. Вот вспомнилось, как родился Ленька, потом вдруг навернулась в памяти та ночь, когда цвел горох за баней,

когда из светлых ночных полей долетали голоса девок, потом неожиданно всплыла волчья морда, скрипучий зимник, и вновь замелькали в глазах фиолетовые и белые гороховые лепестки, потом представилось предосеннее поле и Свербега — молодой игровой жеребенок с круглым задком, с тонкими ножками и с мягкими ласковыми губами...

— Ооо-ох!..

В рамы хлестала свинцовой дробью снежная крупа.

Иван Тимофеевич подошел к комоду, ничего не думая, открыл нижнюю дверку, вытащил пыльную, пять лет никем не троганную гармонь. Он отстегнул ремешки, схватывающие мехи, поставил гармонь на колено. Печальный рокочущий звук баса родился и растаял в холодной пустой избе. Иван Тимофеевич закрыл глаза, но слезы все равно катились в бороду, большие узловатые пальцы перебирали кнопки ладов, с тихим потрескиванием раздвинулись склеившиеся мехи.

Шевеля ртом, Иван Тимофеевич заиграл.

Старинная русская игра была нежна и печальна: перебор «Камаринской» угадывался в ней за тоскливым зовом ладов, густые хрипловатые вздохи басов протяжно оттеняли ладовую переключку, щемящие переходы были целомудренно чисты, и от всего веяло неведомой силой, неведомой горечью.

Иван Тимофеевич играл и играл с закрытыми глазами, положив ухом на гармонь свою бородатую голову, и мутные слезы резкими капельками катились по лицу.

Никого у него не осталось, только гармонь играла, как живая.

Вожжи в бригаде всегда крутили тонкие, ровные. Иван Тимофеевич взял принесенный с конюшни моток и повесил его в темноте за печку. На другой день он вновь был на могиле Михайловны, окопал бугорок — погода чуть потеплела.

На душе было тихо и спокойно. Он знал теперь, что надо делать, и с тайной грустной лаской смотрел на оттаивающий весенний мир. Водополье, поддержанное снегопадом, опять набирало силу. Снова появились грачи и скворцы. Бабы во главе с Полькой боронили вспаханный Иваном Тимофеевичем участок. Они впряглись в борону — восемь баб — и на веревках таскали борону по влажной земле. У конюшни сапожник Ярыка шкурал Свербегу, и ребяташки с корзинками терпеливо стояли рядом. Иван Тимофеевич тоже сходил туда, и Ярыка отрубил ему большой кусок Свербехиногo бедра. Иван Тимофеевич знал, что идет по улице в последний раз, что больше никто его не увидит живым, и был спокоен. Он растопил печь и сварил два куска дохлой конины, но есть не стал, начал собираться. Еще со вчерашнего вечера его просили высушить овин прошлогодней, вытаявшей из-под снега тресты.

Иван Тимофеевич взял большую корзину, положил туда чугунок с кониной, спички, вожжи, лучину и вновь вышел из дома.

Уже вечерело. Он пришел на гумно, натолкал дров в окошечко овина, растопил теплину, большую глинобитную печь.

Иван Тимофеевич всегда был мастер сушить овины.

В большой овинной печи затрещали сосновые чурки, овин медленно наполнялся жаром. Пришла редкозвездная майская ночь.

Иван Тимофеевич чувствовал, как за овинной стеной затихали последние отголоски зимы, как шумел уже стихающий Ярыкин ручей, чуял вешние запахи, и все это пеленалось безбрежной и мудрой тайной, тайной смерти.

Он ни о чем сейчас и не думал, горя как будто не было, но не было и ничего другого. В ушах у него звенело.

Вдруг Иван Тимофеевич услышал скрип воротницы. Он открыл дощатое полотенышко выхода в гумно и услышал Польшка голос. Она стояла с пестерем на плече и окликнула Ивана Тимофеевича:

— Думаю, наскребу немножко коглины' на гумне, две коровы лежат в растяжку.

Иван Тимофеевич ничего не ответил. Польшка пошебаршила на перевале и зашла погреться. Она встала напротив теплинки. Заслонив красные сполохи огня, с минуту трясла мокрым подолом и вышла.

Иван Тимофеевич подождал, пока не стих стук ее сапог, потом взял из корзины вожжи и сделал петлю. Он вышел из овина, нащупал лестницу, по которой поднимались на овин, приставил ее и с веревкой полез наверх. Он привязал веревку к балке, спустился до середины лестницы, поймал в темноте петлю, дрожащими руками раздвинул ее, надел на шею и приноровился вытолкнуть из-под ног лесенку.

На секунду запечатлелись в голове багровый овинный отблеск и шум полевого ручья. Вдруг истошный женский крик послышался из темноты, и Иван Тимофеевич, каясь в чем-то, толкнул лестницу. Больше он ничего не помнил, зеленые нимбы расплылись вокруг затуманенной враз головы.

— Ой, Иван! Ой, что ты наделал-то, ой! — металась в овине Польшка, ища топор. Она нашла топор, скорехонько приставила лестницу, торопливо залезла наверх и наугад, плача, долго тюкала по веревке, пока на подошву гумна не упало грузное тело Ивана Тимофеевича.

Она еле стянула с него врезавшуюся в шею веревку, подтащила его на свет. Иван Тимофеевич не двигался. Она суетилась около, плакала, охала, не зная, что делать. Вдруг кадык у него дрогнул, дернулся один раз, другой, и Польшка, улыбаясь и плача, с маху кинула веревку в огонь.

— Полинарья, ты?

— Я, Иван, я...

— Не говори, ради Христа, никому.

Польшка, вся в слезах, села рядом, положила голову Ивана Тимофеевича на свои коленки, и вся горечь, что накопилась у них обоих, слилась в одно горе, и от этого стало вдруг легче. Чугунок с кониной перекатывался на земляном полу, за овином шумел неутомимый Ярыкин ручей, посинели звезды над гумном, и земля вокруг тихо дышала, дожидаясь человеческих рук.

С ночного юга катилось вал за валом густое, как сусло, вешнее тепло, в темноте у гумна пробивались на свет новые травяные* ростки, гуляла везде весна. Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать все это.

— Не говори, Полинарья, никому... — повторял Иван Тимофеевич эти слова, стыдясь того, что случилось. Он повторял эти слова, подкидывая дров, и огонь в печи набирал силу, как набирала силу первая послевоенная весна.

Коглина (отходы от обмолота льна) — сыпучая масса раздавленных, без семян головок от льна.